



Котабо
Безупречность

Котабо Котабо

Безупречность

<https://litres.ru/74007966>

SelfPub; 2026

Аннотация

Перед вами не роман в привычном смысле. Это пять женских исповедей, пять попыток остановиться и услышать себя.

Тата живёт в горах и знает, что безупречность — не подвиг, а способность вовремя снять турку с огня. Вера, старая балерина, танцует руками на пустынном пляже и не хочет умирать в чистой палате. Надя, логопед без голоса, учится молчать, чтобы впервые заговорить правду. Рита, смотрительница кладбища, растит герань в пепле и отказывается уступать чиновникам. Анна, беглянка из большого города, находит себя на берегу реки, глядя на кувшинки.

Они разные. Их объединяет одно: каждая выбрала не бежать, а стоять. Слушать. Дышать. Каждая нашла свою безупречность — не в идеальности, а в честности перед собой.

«Гора не спрашивает, кто ты. Она просто позволяет тебе стоять». Эти истории — тихое лекарство для тех, кто устал быть удобным, успешным и правильным. И забыл, как просто жить.

Содержание

Гора не спрашивает.	4
Глава 1. Утро в горах	4
Глава 2. Два дня до пятницы. Бытовые ритуалы безупречности	15
Глава 3. Пятница. Приезд Софии	18
Глава 4. Вечер пятницы. Разговор Таты и Ирис о Софии	22
Глава 5. Ночь пятницы. Тата одна. Мысли о сыне	25
Глава 6. Суббота. Прогулка в горы	27
Глава 7. Воскресенье. Чай с Верой	30
Глава 8. Вечер воскресенья. Камень с резными знаками	33
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Котабо

Безупречность

Гора не спрашивает.

Глава 1. Утро в горах

Тата проснулась за минуту до рассвета — не от будильника, а от того, что небо за окном начало менять цвет. В горах это всегда происходит неожиданно: только что была чернота, и вдруг край востока становится лиловым, будто кто-то пролил чернила на бархат.

Она не включила свет. Прошла босиком по холодному полу к кухне, поставила турку на маленький огонь. Кофе она молола сама — каждое утро, это был ритуал, который она не нарушала уже много лет, даже когда в дом приезжали гости и начинали шуметь.

«Сегодня придет Ирис», — подумала Тата, и уголки её губ сами собой поднялись. Сестра была единственным человеком, с которым можно было не говорить часами — и при этом чувствовать, что разговор идёт.

Она высыпала молотый кофе в турку, добавила щепотку кардамона — так делала их мать, когда они были девочками

в долине. Тогда горы казались им краем света, а теперь Тата жила на этом краю.

Кофе закипел, поднялся шапкой, и она сняла его за секунду до того, как он убежал. Безупречность, подумала она. Не магия, не подвиг. Просто внимание. Просто знание, когда снять с огня.

Она налила кофе в большую глиняную чашку, вышла на террасу. Горы уже проявились из темноты — серые, потом розовые, потом золотые. Где-то там, в долине, ещё спала Ирис. Но через час она уже будет подниматься по тропе.

Тата сделала глоток и почувствовала, как тепло разливается по телу. Она ничего не ждала от этого дня. И именно это чувство — отсутствие ожидания — делало его совершенным.

Ирис не звонила. Она вообще редко звонила — зачем, если тропа помнит её шаги лучше, чем любой телефон? Тата слышала её ещё за поворотом: сначала лёгкий кашель — в долине сейчас цвел какой-то жёлтый куст, от которого у сестры першило в горле, — потом звук палки, которой Ирис отбивала росу с высоких трав.

— Ты уже пьёшь без меня? — крикнула Ирис, появившись из-за камня. Ей было шестьдесят, но в этом крике слышалась девчонка, которая каждое лето тащила Тату на речку, пока мать не успела заметить.

— Кофе не убежит, — ответила Тата, не вставая. — У тебя есть время сесть и выдохнуть.

Ирис бросила рюкзак на лавку, тяжело опустилась рядом. Сестры не обнялись — они не нуждались в этом каждый раз. Объятия были для потерь и встреч после долгой разлуки. А они встречались каждую субботу и среду.

— Знаешь, что я увидела утром? — сказала Ирис, отдышавшись. — Лису. Она сидела у моей калитки и смотрела на меня так, будто хотела сказать: «Ты опять опаздываешь». И я правда опоздала на полчаса.

— Ты не опоздала, — Тата подвинула к ней вторую чашку, уже налитую, тёплую. — Ты пришла ровно тогда, когда должна была. Лиса просто напомнила, что время — не стрелки на часах.

Они помолчали. Горы молчали вместе с ними.

Внутри дома зазвонил телефон. Тата не шелохнулась. Ирис вопросительно подняла бровь.

— Пусть звонит, — сказала Тата. — Если что-то важное, перезвонят. Если не важное — зачем мне тратить утро на разговор, который не требует ответа?

Телефон замолчал. А через минуту — снова.

— Это София, — вдруг сказала Ирис. — Я по ритму звонка знаю. Твоя дочь никогда не даёт двух коротких гудков, у неё всегда три длинных, будто она мнетя перед каждым словом.

Тата вздохнула. Вздох — не раздражения, а скорее согласия с тем, что сейчас её безупречность будет проверена не лисицей и не тропой, а голосом дочери из долины.

— Иди, — мягко сказала Ирис. — Я пока разолью остатки кофе. А если убежит — значит, мы сегодня пьём растворимый. Помнишь, как в детстве, когда мать уезжала?

Тата поднялась. Пошла к телефону. Посмотрела на экран — София. И, прежде чем ответить, сделала то, что делала всегда перед разговором, который мог выбить из равновесия: закрыла глаза на секунду и представила, что гора за спиной — это её позвоночник.

— Алло, дочка.

— Мам, ты долго не брала трубку. Я волновалась.

София говорила быстро, как всегда, когда была не в себе. Тата узнавала этот темп — он означал, что дочь уже прокрутила в голове десяток вариантов, сама себя накрутила, и теперь ждёт от матери то ли утешения, то ли инструкции, то ли просто присутствия.

— Я на террасе, телефон был в доме. Я не бегу к нему, ты знаешь.

— Знаю. Но могла бы и взять с собой.

— Могла бы, — спокойно сказала Тата. — Но не взяла.

В трубке повисла пауза. София переваривала этот ответ — без извинений, без оправданий. Просто факт. Тата смотрела на свои пальцы, лежащие на деревянных перилах. Они были узкими, с крупными суставами — материнские руки. И вдруг она увидела их другими. Маленькими. Испачканными смородиной.

Лето. Им с Ирис по десять и одиннадцать. Бабушка —

мать их матери — сидит на крыльце и чистит картошку. Девочки только что прибежали с речки, мокрые, счастливые. И видят на столе вазу с леденцами в прозрачных фантиках.

— Можно? — Ирис уже тянет руку.

— А если я скажу нет? — бабушка даже не поднимает глаз.

Ирис замирает. Тата смотрит то на леденцы, то на бабушкины руки, которые ловко, без спешки, чистят картофелину за картофелиной.

— Почему нет? — тихо спрашивает Тата.

— Потому что вы хотите их сейчас. Вы вцепились в это «хочу» зубами. А сладость, которая требует хвататься — уже не сладость, а капкан. — Бабушка откладывает нож и поднимает глаза. — Выдохните. Прямо сейчас. Посмотрите на леденцы и выдохните. Отпустите желание.

Девочки выдыхают. Ирис — сердито, Тата — удивлённо.

— А теперь возьмите по одному, — говорит бабушка. — Если всё ещё хотите.

Они берут. Леденцы оказываются кислыми, с мятным привкусом. Ирис морщится. Тата улыбается.

— Видите? Желание прошло сквозь вас, как ветер. Вы не умерли. А леденец остался леденцом.

Тата моргнула. Пальцы на перилах снова стали взрослыми.

— Мам, ты слушаешь?

— Да, дочка. Я слушаю.

— Я хочу приехать в пятницу, не в субботу. Можно?

— Конечно.

— И Сашку взять? У него каникулы.

— Дом открыт.

София помолчала. Потом сказала тише:

— А ты не спросишь, почему в пятницу?

Тата посмотрела на горы. Горы не спрашивали «почему».

Они просто были.

— Мне не нужно знать почему, чтобы сказать «да». Приезжайте. Я сварю суп.

— Мам... — голос Софии дрогнул. — Спасибо.

— Не за что, дочка. До пятницы.

Тата положила трубку. Вышла на террасу. Ирис сидела на той же лавке, прикрыв глаза, лицом к солнцу.

— Ну что? — спросила Ирис, не открывая глаз.

— Приезжают в пятницу.

— И ты не спросила, что стряслось?

— Нет.

Ирис открыла глаза, посмотрела на сестру долгим взглядом — тем, каким смотрят только те, кто знал тебя ещё до того, как ты научилась не желать.

— Помнишь леденцы? — тихо спросила Ирис.

— Помню, — сказала Тата и улыбнулась.

Ирис не стала развивать тему леденцов. Она вообще умела вовремя останавливаться — это было её главным даром,

может быть, даже большим, чем умение радоваться.

— Кофе остыл, — сказала Ирис, поднимая свою чашку. — Но я всё равно допью. Знаешь, в долине сейчас так вкусно пахнет чабрецом, что я шла и думала: почему мы раньше не сушили его на зиму? Мать сушила. А мы с тобой всё откладывали.

— Потому что нам казалось, что лето будет вечным, — ответила Тата.

Она взяла с перил турку — медную, с потёртостями, доставшуюся от той самой бабушки с леденцами. Плеснула остатки в свою чашку. Жидкость была тёмной, почти чёрной, горькой — без сахара, без молока. Так она пила уже лет двадцать.

— Слушай, — Ирис оставила пустую чашку и повернулась к сестре всем телом, — София приезжает в пятницу. Значит, в пятницу утром я спущусь в долину за сыром и зеленью. Не спорь. Твой суп без моей кинзы — не суп.

— Я и не спорю, — Тата улыбнулась. — Я вообще перестала спорить в прошлом году. Ты не заметила?

— Заметила. Думала, временное.

— Нет. Это постоянное. Безупречность экономит энергию. Даже на спор.

Ирис хмыкнула, но ничего не сказала. Они помолчали. Горы тоже молчали. Только где-то далеко, ниже по склону, залаяла собака — то ли на лису, то ли на ветер.

— А ты не хочешь спросить, что у Софии стряслось? —

вдруг спросила Ирис. — Я бы на твоём месте уже прокрутила сотню вариантов.

Тата долго смотрела на вершину напротив. Там, где кончались деревья и начинались голые камни, лежал снег. Он лежал там всегда — даже в августе, даже в засуху. Тата смотрела на него и думала: вот безупречность. Снег не спрашивает, зачем он здесь. Он просто остаётся холодным, пока не растает по закону, а не по желанию.

— Если София захочет, чтобы я знала, — сказала Тата, — она скажет. Не захочет — не скажет. А я буду варить суп. И мыть полы. И рисовать горы. Моя безупречность — не лезть с расспросами туда, где меня не звали.

Ирис встала, потянулась, хрустнув позвоночником.

— Тогда я пойду. Мне ещё в долину успеть до жары. А ты... ты допей свой горький кофе и напиши что-нибудь. Или нарисуй. Я вижу, тебе хочется.

— Откуда ты видишь?

— Сестра. — Ирис уже взяла рюкзак, но задержалась на секунду. — Я всегда вижу, когда тебе хочется творить. Ты начинаешь смотреть в одну точку, и глаза становятся как у кошки, которая заметила птицу.

Ирис ушла. Её шаги затихали за камнями. Тата осталась одна.

Она действительно хотела. Не писать, нет. Рисовать. Взять тонкую кисть и сделать маленький набросок — гору, снежную вершину и тропинку, которая уходит вверх и теряется в

облаках. Без людей. Без сына, который не звонит, без Софии с её пятницей, без Ирис, которая угадывает желания.

Просто гора. И снег. И безупречность молчания.

Тата встала, убрала чашки в дом, открыла окно, чтобы ветер гулял по комнате, и достала альбом. Она не планировала этот рисунок. Он сам просился на бумагу — так же, как утром сам позвонил телефон.

Безупречность — не планирование. Безупречность — отклик.

Она начала рисовать.

Альбом был раскрыт на чистом листе. Тата долго смотрела на белизну — не боялась её, как раньше, а принимала как данность. Гора родилась из первого же прикосновения кисти: серая, неровная, с глубокими трещинами, которые будут потом залиты светом.

Она рисовала медленно. Не потому, что боялась ошибиться, а потому, что хотела почувствовать каждый мазок. Безупречность — она в этом: не количество, а качество внимания.

И вдруг, на середине склона, кисть замерла.

Сын.

Он не звонил три месяца. Не написал. Не приехал. И Тата знала, что не спросит его «почему», даже если когда-нибудь они снова увидятся. Потому что безупречность — это не затыкать дыры чужим молчанием.

Она закрыла глаза. Перед внутренним взором возникло

не лицо сына, а одно лето, когда ему было семь. Он поймал на веранде бабочку — махаона, жёлто-чёрного, трепещущего. Зажал в кулаке и прибежал к ней: «Мама, смотри!» Тата тогда мягко разжала его пальцы, бабочка взлетела и упала на землю — одно крыло было сломано.

Сын заплакал. Не от злости, а от ужаса, что разрушил красоту.

— Ты хотел её удержать, — сказала Тата. — Но красоту нельзя удержать. Можно только смотреть на неё, пока она рядом.

Он не понял тогда. Ему было семь. А теперь ему тридцать, и он не звонит. Может быть, он всё ещё не умеет смотреть на красоту, не ломая крылья.

Тата открыла глаза. Кисть снова пошла по бумаге — ровно, без дрожи.

Безупречность — не жалеть о сломанных крыльях. Безупречность — продолжать рисовать гору, даже когда бабочка упала.

Она добавила снег на вершину — белой акварелью, почти сухой, чтобы он искрился, но не стекал. Потом — небо. Серо-голубое, с разрывами, как будто сквозь тучи уже пробивается солнце.

Ирис как-то сказала: «Твои горы всегда выходят грустными». А Тата ответила: «Они не грустные. Они просто понимают, что такое вечность».

Когда рисунок был почти готов, в комнату влетела муха.

Забилась о стекло. Тата встала, открыла окно шире — муха вылетела. И тут же, на свободе, её подхватил ветер и унёс куда-то вниз, к долине.

Тата улыбнулась. *Желание быть понятой — как муха в банке. Открой окно — и оно улетит само.*

Она поставила кисть в стакан с водой. Подписала рисунок на обороте коротко: «*Тем, кто не звонит. И тем, кто приедет в пятницу*». Подпись была не горькой, не сладкой. Просто факт.

Потом Тата вышла на террасу, села в плетёное кресло, взяла телефон. Не для того, чтобы звонить. Просто посмотреть на время. До приезда Софии — два дня.

Два дня безупречности. Два дня горы, которая не спрашивает, зачем её рисуют.

Она закрыла глаза. Ветер пах чабрецом. И где-то далеко, в долине, Ирис уже покупала сыр и думала о кинзе.

Глава 2. Два дня до пятницы. Бытовые ритуалы безупречности

Утро четверга. Полы.

Тата встала затемно — так она делала всегда, когда ждала гостей. Не суета, а тихое ожидание, похожее на то, с каким гора встречает рассвет.

Она налила в ведро тёплой воды, добавила горсть сосновых иголок — для запаха. Ирис когда-то научила: «Химия убивает память дома. А иголки возвращают детство».

Тата мыла полы не торопясь. Каждое движение швабры было как танец: от дальнего угла к двери, чтобы не оставлять следов. Она не слушала музыку, не включала подкасты. Только звук воды, скрип половиц и своё дыхание.

- Безупречность в уборке? — спросила бы София.

Тата улыбнулась своим мыслям. Да. Когда моешь пол для тех, кто приедет, — ты не убираешь грязь. Ты создаёшь пространство, в котором человеку можно выдохнуть.

Она вспомнила бабушку: та перед каждым приездом гостей натирала медный поднос до зеркального блеска. Зачем? Ведь всё равно нальют чай, поставят чашки, и поднос покроется каплями. Бабушка тогда сказала: «Важен не результат. Важно, что я вкладываю внимание, пока тру. А капли — это уже не моя забота».

Тата выжала тряпку, повесила сушиться на верёвку. Пол

блестел. Пахло сосной.

Полдень четверга. Глажка.

Тата не любила гладить. Но безупречность — это не делать только то, что любишь. Это делать и то, что нужно, с тем же вниманием.

Она достала из шкафа льняные простыни — прохладные, чуть шершавые. София любила такие. «В них спится, как в детстве», — говорила дочь.

Утюг шипел, выпуская пар. Тата гладила не спеша, разглаживая каждую складку. Мыслями она была уже в пятницу. Представляла, как София войдёт в дом, как Сашка бросит рюкзак в прихожей — рюкзак обязательно упадёт, потому что он вечно падает, — как запах супа ударит в лицо, и София скажет: «Мама, ты опять положила кинзу? Я не люблю кинзу».

Тата улыбнулась. Положила утюг на подставку, сложила простыню вчетверо. Погладила рукой — гладко.

Безупречность — не когда всё идеально. Безупречность — когда ты делаешь это для кого-то, даже если он не скажет спасибо.

Вечер четверга. Овощи.

Тата высыпала на стол корзину: морковь, картофель, лук, помидоры, сладкий перец. Тата решила заняться тем, что не требует спешки.

Она взяла нож. Не тот, острый как бритва, а другой — с

деревянной ручкой, которую выточил её отец полвека назад. Нож был тяжёлым, удобным. Тата чистила картофель тонкой стружкой, почти не глядя. Пальцы помнили каждую картофелину, её изгибы, тёмные глазки, которые нужно вырезать.

Безупречность в резке — когда ты не думаешь о супе. Ты думаешь о картофелине.

Она резала кубиками — не слишком мелкими, не слишком крупными. Такими, чтобы они успели провариться, но не развалиться в кашу. Лук — прозрачными полукольцами. Морковь — тонкой соломкой.

Ирис часто смеялась: «Ты возишься с едой, как монахиня с чётками». А Тата не обижалась. Потому что Ирис была права. В каждом движении ножа — молитва. Не словами, а вниманием.

Где-то на середине моркови Тата поймала себя на том, что думает о сыне. О том, как в детстве он терпеть не мог лук в супе. Вылавливал и раскладывал на край тарелки. Она тогда злилась. Теперь бы не стала. Теперь бы сказала: «Оставь. Это твой суп. Тебе и выбирать».

Она моргнула. Вернулась к моркови. Нож шёл ровно.

Ночью Тата долго не могла уснуть. Смотрела в потолок. Думала о горах, о сыне, о том, что Ирис принесёт кинзу, а София будет ворчать. И вдруг почувствовала покой. Такой, какой бывает только тогда, когда ты перестал ждать благодарности и просто подготовил дом.

Она заснула с мыслью: «Завтра пятница. Всё правильно».

Глава 3. Пятница. Приезд Софии

Утро пятницы. Встреча.

Суп кипел на плите.

Тата слышала машину ещё за полкилометра. Старый дизельный универсал Софии фыркал на подъёме, чихал, но полз. Тата вышла на крыльцо, прикрыв глаза от солнца.

Машина остановилась. Из водительской двери вывалился Сашка — внук, двенадцать лет, длинные руки-ноги, весь в отца. Он что-то крикнул, не разобрать, и побежал к дому, обгоняя собственную тень.

— Бабушка! А у тебя есть «вайфай»? А суп с клёцками? А Ирис здесь?

— Здравствуй, Саша, — Тата поймала его в объятия, коротко, не душа. — «Вайфай» есть. Суп без клёчек, но с кинзой. Ирис придёт к обеду.

Сашка уже был в доме. Грохот рюкзака — точно, упал. Тата улыбнулась и посмотрела на машину.

София выходила медленно. Закрыла дверь, поправила волосы, взяла с заднего сиденья пакет. Что-то в её движениях было не так — слишком осторожно, слишком собранно, как будто она боялась рассыпаться.

— Мам, привет.

— Здравствуй, дочка.

Они не обнялись сразу. Сначала София поставила пакет

на землю, потом шагнула вперёд, и Тата её обняла. В этом объятии не было торопливой нежности, но было тепло. Тата почувствовала, как напряжены плечи дочери, как пахнет от неё городским потом и мятной жвачкой — всегдашняя защита.

— Проходи, суп готов. Твоя тарелка в шкафу, полотенце на вешалке. Я сейчас накрою.

София кивнула и ушла в дом, не поднимая глаз. Тата не спросила «как дела?». Она просто взяла пакет и пошла следом.

Обед. Разговор за супом.

Они сели за стол на веранде. Сашка уже уплетал суп, хлебая и чавкая — Тата не делала замечаний. София ковырялась в тарелке, отодвигая кинзу на край.

— Я же говорила, не клади эту траву, — буркнула София.

— Положила. Ты можешь её не есть. Это не экзамен по чистоплотности.

София усмехнулась — впервые за утро. Но улыбка быстро погасла.

Некоторое время ели молча. Сашка спросил: «А можно я пойду в сад? Там яблоки уже?» — и был отпущен. Остались вдвоём.

И тогда София не выдержала.

— Мам, ты даже не спросила, почему я приехала в пятницу.

— Ты скажешь, если захочешь.

— Нет! — София отодвинула тарелку. — Ты всегда так! Ты не лезешь, не спрашиваешь, тебе всё равно, что ли?

Тата отложила ложку. Посмотрела на дочь. Не обиженно, не строго. Спокойно.

— София. Мне не всё равно. Я просто не требую, чтобы ты делилась раньше, чем готова. Если ты хочешь сказать — скажи. Если нет — суп остынет, но его можно разогреть.

София вскипела — и вдруг сломалась.

— У меня проблемы с Павлом. Он ушёл. Сказал, что не может больше жить с женщиной, которая всё контролирует. Я не контролирую! Я просто... боюсь. Боюсь, что, если не проконтролировать, всё развалится. А оно и так развалилось.

Она заплакала. Негромко, без истерики, но плечи дрожали. Тата не бросилась обнимать. Она просто протянула руку через стол и положила свою ладонь на её руку. Тёплую, сухую, с крупными суставами.

София всхлипнула.

— Ты... ты могла бы сказать что-нибудь.

Тата помолчала. Потом сказала:

— Ты сильная, дочка. Ты это забыла. А я помню. И суп с кинзой я кладу не потому, что ты любишь. А потому, что я люблю. Это моя кинза. Ты можешь её отодвигать.

София подняла голову, вытерла глаза ладонью, размазав тушь. Посмотрела на мать — с удивлением, с облегчением.

— И всё? Ты не дашь совет? Не скажешь, как жить даль-

ше?

— Нет, — сказала Тата. — Я сварю тебе завтра гречку. И мы пойдём смотреть на горы. У них есть советы получше моих.

Они молчали долго. Ветер шевелил скатерть. Где-то в саду Сашка крикнул: «Бабушка, а тут ёжик!» — и Тата улыбнулась.

София взяла ложку и доела суп. Вместе с кинзой.

Глава 4. Вечер пятницы.

Разговор Таты и Ирис о Софии

София ушла в дом — мыть посуду, хотя Тата не просила. Ей нужно было движение, чтобы успокоиться. Сашка возился во дворе с палкой, воображая её то мечом, то посохом странника.

Ирис пришла, когда солнце уже коснулось вершин. Без стука, без крика — просто открыла калитку, села на лавку рядом с Татой и долго молчала.

— Ну, — сказала наконец. — Рассказывай. Я видела лицо Софии. Так плачут, когда муж уходит или, когда увольняют.

— Павел ушёл, — тихо ответила Тата. — Сказал, что она слишком контролирует. А она просто боится.

Ирис хмыкнула. Достала из рюкзака два яблока — зелёных, кислых — и одно протянула сестре.

— У нас мать тоже контролировала. Помнишь? Куда пошли, во что оделись, с кем дружить. И мы выросли... я — вся в свободу, как сорняк. А ты?

— А я — в контроль, но над собой, не над другими, — сказала Тата. — С Софией вышло иначе. Я дала ей слишком много свободы. И теперь она не знает, куда её деть.

— Ничего, — Ирис откусила яблоко, с хрустом. — Горы выправят. Завтра поведёшь их на тропу. Пусть надышится. Сын-то что?

— Мальчик нормальный. Спрашивал про «вайфай» и ёжика.

— Я не про Сашку. Я про твоего сына. Про Колю.

Тата замолчала. Долго смотрела вниз, в долину, где уже зажигались первые огни.

— Не звонит, — сказала она. — Три месяца.

— А ты? — Ирис не смотрела на сестру, только на яблоко в своей руке.

— А я не звоню. Не потому, что гордая. Потому что безупречность — не дергать за ниточки, которые не в моей руке. Если ему нужно будет — услышу. Или не услышу. Гора не кричит вслед уходящему ветру.

Ирис кивнула. Ни «молодец», ни «жалко». Просто кивок — высшая форма согласия между сёстрами, которые знают, что слова часто лишние.

— Ты его любишь, — сказала Ирис. Это был не вопрос.

— Люблю. Но любовь — не цепь. Я не буду тащить его к себе. Я буду стоять здесь, в горах. Если придёт — хорошо. Если нет — значит, его тропа лежит в другом месте.

Они доели яблоки. Из дома доносился смех Сашки и звук переключаемых каналов. София вышла на крыльцо, вытирая руки полотенцем.

— Тётя Ирис, ты сегодня ночуешь здесь?

— Нет, племянница. Я спущусь в долину, пока не стемнело совсем. Завтра приду к завтраку. И принесу свежий хлеб.

Ирис встала, отряхнула юбку, коротко обняла Тату — так,

как обнимают скалы: не раскидывая рук, просто прижавшись лбом к виску.

— Держись, гора моя.

— Иди, ветер.

Ирис ушла. София долго смотрела ей вслед, потом села рядом с матерью.

— Мам, а почему тётя Ирис никогда не была замужем?

— Потому что она вышла замуж за свободу. И не жалеет.

София вздохнула, положила голову Тате на плечо. Так они сидели, пока не стемнело окончательно.

Глава 5. Ночь пятницы. Тата одна. Мысли о сыне

София и Сашка спали. Тата проверила, закрыты ли окна, выключила свет в кухне. Но спать не шла.

Она вышла на террасу, закутавшись в старую шерстяную шаль. Ночь в горах была холодной даже летом. Звёзды висели низко, как будто их можно было достать рукой.

Тата села в плетёное кресло. Телефон молчал. Он молчал уже три месяца, и она научилась не смотреть на экран каждые пять минут.

Коля.

Мысль о сыне пришла не болью, а скорее тяжестью — как камень, который не давит, но ты знаешь, что он лежит на определённом месте.

Тата закрыла глаза. Перед ней возникло не лицо, а детская рука. Маленькая, с ямочками на суставах. Коле было четыре, он тянулся к ней с кровати: «Мама, не уходи». А она уходила — на работу, в магазин, в свою жизнь. Каждый раз возвращалась. Но он, наверное, запомнил не возвращения, а уходы.

Безупречность в материнстве — не быть идеальной матерью. Безупречность — не врать себе, что ты всё сделала правильно.

Она не знала, где Коля сейчас. В городе? В другом городе?

Может быть, за границей? Он не оставлял адресов. Не просил денег. Просто исчез, как исчезают люди, которым слишком больно быть рядом.

Тата открыла глаза, посмотрела на звёзды. И вспомнила бабушкин урок: *«Если желание не исполняется — значит, оно пришло не оттуда. Отпусти. Не держи. Оно само вернётся, если нужно»*.

Она не держала. Она дышала. Звёзды дышали вместе с ней.

— Ты жив, — прошептала Тата. — Этого достаточно.

Она не заплакала. Слезы были бы роскошью, на которую у неё не было права. Не потому, что она воин. А потому, что безупречность — это не запрет на эмоции. Безупречность — это не кормить эмоции дольше, чем они живы.

Тата встала, плотнее завернулась в шаль, зашла в дом. Легла на свою кровать, слушая, как за стеной тихо посапывает Сашка, а София иногда говорит во сне.

Дети. Твои дети — это не твоя собственность. Это люди, которым ты дала тело. Остальное — их путь.

Она заснула с этой мыслью. И снилась ей не гора, а бабушка, которая чистила картошку и улыбалась.

Глава 6. Суббота. Прогулка в горы

Тата проснулась рано, но не первой. София уже сидела на кухне, пила растворимый кофе — тот самый, который критиковала подруга Таты в другой жизни. Сашка доедал вчерашний суп прямо из кастрюли.

— Бабушка, мы идём в горы? — спросил он с набитым ртом.

— Идём. Но сначала — завтрак нормальный. Ирис придёт с хлебом.

Ирис пришла с хлебом, сыром и бутылкой холодного чая. Позавтракали. Быстро собрали рюкзаки — вода, яблоки, плед, аптечка (Тата брала всегда, хотя ни разу не понадобилась).

Тропа начиналась сразу за домом. Сначала пологая, потом круче, потом снова пологая — как дыхание.

Шли молча. Сашка пытался бежать вперёд, но Тата мягко сказала: «В горах не бегают. Горы любят шаг. Один шаг — одно дыхание». Сашка надулся, но потом увлёкся — стал считать шаги.

София шла рядом с матерью. Дышала тяжело — городские лёгкие не привыкли к чистому воздуху.

— Мам, как ты это делаешь? Идёшь и не устаёшь.

— А я не иду. Я стою. И гора движется подо мной. Это просто фокус.

София не поняла, но улыбнулась.

На середине подъёма Тата предложила привал. Расстелили плед, сели на траву, пахнущую чабрецом и солнцем. Сашка тут же нашёл какую-то ящерицу и забыл обо всём.

— Мам, — София сорвала травинку, покрутила в пальцах. — Ты вчера не дала мне совета. Про Павла. А я всю ночь думала. Может, это я виновата?

Тата долго молчала. Потом сказала:

— А ты хочешь правду или утешение?

— Правду.

— Правда в том, что виноватых нет. Есть люди, которым стало тесно в одной комнате. Это не твоя вина и не его. Это просто движение. Как у гор: они не виноваты, что трескаются. Они просто становятся другими.

София смотрела вниз, в долину, где их дом казался маленькой белой точкой.

— Я боюсь одиночества, — прошептала она.

— Одиночество — это не когда ты одна. Это когда ты не с собой. А с собой ты можешь быть всегда. Вот этому я и училась всю жизнь. И учусь до сих пор.

Они помолчали. Сашка крикнул: «Ящерица убежала!»

— Бывает, — сказала Тата. — Идём дальше.

И они пошли. Не на вершину — это было слишком далеко. Просто выше, где воздух чище, а мысли тише.

Тата шла ровно, не обгоняя, не отставая. Каждый шаг был полным. Она не думала о сыне, который не звонит. Не ду-

мала о Софии, у которой разбито сердце. Не думала о безупречности.

Она просто шла. И гора двигалась под ней.

А внизу, в доме, оставался налитый заварной кофе, который остывал. Но это было неважно.

Безупречность — она не в кофе. И даже не в шагах.

Безупречность — в том, чтобы делать этот шаг, будто он единственный.

Глава 7. Воскресенье. Чай с Верой

София и Сашка ещё спали после вчерашней прогулки. Тата сидела на террасе с альбомом, но не рисовала — просто держала его на коленях, смотрела на горы.

Ирис пришла рано, с корзиной грибов, и уже возилась в кухне, готовя завтрак. Поэтому, когда калитка скрипнула и вошла Вера, Тата не удивилась. Вера иногда заходила по воскресеньям — без звонка, без предупреждения. Она считала, что «близкие люди не должны предупреждать».

— Привет, отшельница, — Вера подошла, села на лавку, не дожидаясь приглашения. — Чем занята? Опять свои горы малюешь? Дай посмотреть.

Тата молча протянула альбом.

Вера листала долго. Хмыкала. Поджимала губы. Ирис выглянула из окна, увидела гостью и покачала головой — но ничего не сказала.

— Знаешь, Тат, — Вера закрыла альбом, — у тебя та же проблема, что и в прошлом году. Тени не туда падают. Вот здесь, на этом склоне, солнце должно быть слева, а ты его справа нарисовала. И вообще, горы у тебя какие-то... грустные. Люди любят горы весёлые, с яркими красками. А ты всё в серо-голубом.

Тата кивнула.

— Спасибо, Вера. Я подумаю.

— А ещё я вчера прочитала твои новые рассказы, которые ты мне дала. Там героиня сначала пьёт растворимый кофе, а потом заварной. Это же ляп! Читатель заметит. И потом — то сын мелькает, то нет, где он? Надо или убирать, или объяснять.

Тата улыбнулась. Не насмешливо, а мягко, как улыбаются горам.

— Вера, а тебе не кажется, что жизнь сама полна таких «ляпов»? Иногда я пью растворимый, иногда заварной. И сын мой не звонит, и я не знаю, где он. Это не ляп. Это просто... жизнь.

— Но искусство должно быть стройнее жизни! — возразила Вера. — Настоящий писатель не допускает таких нестыковок.

Ирис высунулась из окна:

— Вера, а настоящие горы — они стройные? Одна вершина выше, другая ниже, тени ползут, солнце меняется. И ничего. Стоят миллионы лет. И никто им не говорит, что у них «ляп».

Вера обиделась.

— Я же из лучших побуждений. Хочу помочь.

Тата взяла её за руку. Спокойно, без давления.

— Я знаю, Вера. И я благодарна тебе за твоё внимание. Правда. Но я не пишу для настоящих писателей и не рисую для настоящих художников. Я просто... дышу. Иногда получается растворимый кофе, иногда заварной. Иногда сын зво-

нит, иногда нет. Моя безупречность — не в том, чтобы сделать текст или картину без ошибок. А в том, чтобы не врать себе.

Вера помолчала. Потом вздохнула, встала.

— Ты безнадежна. Но это твоё право. Ладно, пойду я. Грибы, может, соберу.

Она ушла. Ирис вышла на террасу, вытирая руки фартуком.

— Слушай, а ты не расстроилась?

— Нет. Это её безупречность — критиковать. Моя — не оправдываться.

— А наша общая — допить кофе. Он заварной сегодня.

— Ирис хитро посмотрела. — Хотя вчера был растворимый. Ляп?

Тата рассмеялась. Горы тоже будто улыбнулись — тени на их склонах чуть сдвинулись, но никто не сказал им, что это ошибка.

— Ирис, наливай. И носи сюда. И пусть Вера думает, что хочет.

Они пили кофе молча. И в этом молчании было больше безупречности, чем в любом учебнике по литературе.

Глава 8. Вечер воскресенья.

Камень с резными знаками

София и Сашка уехали после обеда. Ирис ушла в долину, забрав корзину с грибами и пообещав вернуться в среду. Дом опустел, но не осиротел — он наполнился тишиной, той самой, которую Тата любила больше всего.

Она перемыла посуду, закрыла окна, зажгла свечу на столе. А потом подошла к старому комоду, выдвинула нижний ящик — тот, который скрипел и не выдвигался до конца, потому что внутри лежало нечто тяжёлое.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.